

Даниил Лукич Мордовцев

Державный плотник

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-311.6

ББК 84-4

Даниил Лукич Мордовцев

Державный плотник / Даниил Лукич Мордовцев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 330 с.

ISBN 978-5-4241-2356-6

Даниил Лукич Мордовцев – русский и украинский писатель, историк и публицист. Его сугубо исторические исследования имели у современников успех, сравнимый только с «Историей государства Российского» Н.М. Карамзина. Но история нам понятна тогда, когда мы можем понять чувства минувшего. Художественная проза Даниила Мордовцева исследует чувства и настроения ушедших эпох, она написана живым и образным языком, она экспрессивна и эмоциональна.

ISBN 978-5-4241-2356-6

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Даниил Мордовцев
Державный плотник. Роман и
повести

Сидение Раскольников в Соловках

Историческая повесть из времени начала раскола на Руси в царствование
Алексея Михайловича

I. БУРЯ НА БЕЛОМ МОРЕ У СОЛОВОК

По Белому морю, вдоль Онежской губы, по направлению к Соловецкому острову медленно плыла небольшая флотилия из кочей, наполненных стрельцами. Кочи шли греблей, потому что на море стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходов. Весна 1674 года выдалась ранняя, теплая, и вот уже несколько дней солнце невыносимо медленно от зари до зари ползло по безоблачному небу, почти не погружаясь в море даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Марило так, что казалось, и небо было раскалено, и от моря отражался жар, и груди дышать было нечем. Кругом стояла такая тишина, что слышен был малейший плач морской чайки где-то за десятки верст, хотя самой птицы и не было видно, да и ей в эту жарынь не леталось. Весла гребцов медленно, лениво, неровно опускались в морскую лазурь и блестели на солнце спадавшими с них алмазными каплями, а с самих гребцов по покрасневшимся лицам катился пот, смачивая разметавшиеся и всклокоченные пряди волос и бороды.

На переднем, на самом большом из всех кочей судне, у кормы, под натянутым на снасти положком сидит старый монах и, вода грязным толстым пальцем по развернутой на коленях книге, читает, гнуся и спотыкаясь на титлах да на длинных словах. На трудных словах особенно трясется его седая козелковая борода:

– «И от Троицы князь великий поеде и с великою княгинею и с детьми в свою отчину на Волок Ламской тешится охотою на зверя прыскачаго и на птица летучая. И тамо яко некоим от Бога посещением нача немощи, и явися на позе его знамя болезненно, мала болячка на левой стране на стегне, на изгиби, близ нужного места, с булавочную голову, верху у нея нет, ни гною в ней нет же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себе, яко приближается ему пременение от маловременнаго сего жития в вечный живот»...

– «От маловременнаго сего жития в живот вечный»... вон оно что! А все никто как Бог, – рассуждал монах, переводя дух и поправляя на голове скуфейку. – Уж и теплынь же, воевода.

– Что и говорить, тепла печка Божова, – отвечал тот, кого называли воеводою, сидевший тут же под холстовым напястьем.

А с задних судов доносился говор и смех, но как-то вяло, лениво. По временам кто-то затягивал песню, другой подхватывал – и лениво, монотонно тянули:

Сотворил ты, Боже, да и небо-землю.

Сотворил же, Боже, весновую службу.

Не давай ты, Боже, зимовые службы,

Зимовая служба молодцам кручинна.

Молодцам кручинна, да сердцу неусладна...

– Али в экое пекло лучше! – протестует чей-то голос.

– «...И посла по брата своего по князя Ондreja Ивановича на потеху к себе. Князь же Ондрей приехал к нему вскоре. Тогда князь великий нужею выеха со

князем Андреем Ивановичем на поле с собаками», – продолжал гундосить монах под пологом.

*...Ино дай же, Боже, весновую службу,
Весновая служба молодцам веселье.
Молодцам веселье и сердцу утеха.*

– ...А я в те поры был у его, у Стеньки, в водоливах на струге, как он гулял с казаками. А она, полюбовница ево, царевна персицка, сидит на палубе, на складцах, словно маков цвет, изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей так и горит. А Стенька выпил-таки гораздо, да и ну похваляться перед казаками: мне, говорит, все нипочем, всего добуду и Москву достану. Да и подходит это к своей полюбовнице, берет ее на руки, словно дитго малую, подносит к борту да и говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Словно отец с матерью ты меня кормила-поила, златом-серебром, славой-честию наделила, а я тебя ничем не одарил... На ж тебе, возьми!» Да так, словно шапку, и махнул в воду свою полюбовницу.

– Что ты, братец ты мой! И утопла?
– Как топор ко дну.

Это ведут беседу стрельцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднее всех остальных кочей. Нос и корма его украшены резьбой и расписаны яркими цветами. На вершине мачты, над вертящимся кочетком, водружен восьмиконечный крест. Пониже, в неподвижном воздухе висит на натянутой снасти красный флаг с изображением Георгия Победоносца. Это судно воеводское. Несколько чугунных пушек поблескивает на солнце, выглядывая за борт.

– ...Что ж, воевода, говоря по-божьему, их, старцев, дело правое, – говорил монах, – двумя персты все мы от молодых ногтей маливались, и я, и ты. Вон и в этой книге, гляди-тко, изображен старец, видишь? Вон у его перстишки-то два торчат, аки свечечки, а большой перст пригнут.

И монах тыкал пальцем в изображение на одной странице книги.

– Так-то так, я и сам не больно за три персты-то стою, – нехотя отвечал воевода, – да они за великого государя не хотят молиться: еретик-де.

– Ну, это дело великое, страшное: об ем не то сказать, а и помыслить-то, и-и! Спаси Бог!

Они замолчали. Молчали и стрельцы, только гребцы медленно и лениво плескали веслами да назад тянули про «весновую службу»:

*А емлемте, братцы, яровы весельца,
Да сядемте, братцы, в ветляны стружочки.
Да грянемте, братцы, в яровы весельца,
В яровы весельца – ино вниз по Волге.*

– Вон и они про Волгу поют. Хороша река, вольна, – снова заговорил стрелец.
– Как же ты с Волги сюда попал, коли у Разина служил?

– Да у него-то я неволей служил... Допрежь того служба моя была у воеводы Беклемишева, и там, как Стенька настиг нас на Волге да отодрал плетью воеводу...

– Что ты! Воеводу! Беклемишева?

– Ево, да это еще милостиво, диви что не утопил... Ну, как это попарил он нашего воеводу, так и взял нас, стрельцов, к себе неволей. А после я и улег от него.

– И ноздри тебе на Москве не вырвали?

– За что ноздри рвать? Я не вор.

– А ты видел, как потом Стеньку-то на Москве сказнили?

– Нет. В те поры мы стояли в черкасских городех, потому чаяли, что етман польской стороны, Петрушка Дорошонок, черкасским людям дурно чинить затевал.

– А я видел. Уж и страсти же, братец ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а там и голову отсекли, да все это – на колья... Так голова-то все лето на колу маячила: и птицы ее не ели, черви съели, страх! Остался костяк голый, сухой: как ветер-то подует, так он на колу-то и вертится да только кости-то цок-цок-цок...

На западе, ближе к полудню, что-то кучилось у самого горизонта в виде облачка. Да то и было облачко, которое как-то странно вздувалось и как бы ползло по горизонту, на полночь.

– Никак, там заволакивает аер-от...

– И впрямь, кажись, облаци Божьи. Не разверзет ли Господь хляби небесны? – крестится монах.

– А добре бы было, страх упека.

Воевода расстегнул косой ворот желтой шелковой рубахи, зевнул и перекрестил рот.

Облачко заметно расползлось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что в иных местах серая пелена, надвигавшаяся на юго-западную половину неба, как бы трепетала. Старый помор-кормщик, сидевший у руля воеводского судна, зорко следил своими сверкавшими из-под седых бровей рысьими глазками за тем, что делалось на горизонте и выше. Жилистая, черная, как сосновая кора, рука его как-то крепче оперлась на руль.

Слева, по гладкой, почерневшей поверхности моря прошла полосами змеистая рябь. Неизвестно откуда взявшаяся стая чаек с плачем пронеслась на восток, к онежскому берегу, которого было не видно. Душный воздух дрогнул, и кочеток заметался и заскрипел на верху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепетало красным полотном, на котором изображен был Георгий, прокалывающий змия с огромными лапами.

– Ай да любо, ветерок! Теперь бы и косым паруском можно, – слышалось откуда-то.

– Напинай, братцы!

– Стой! Не моги! – раздался энергичный голос старого кормщика-помора.

Вдали, на западе, что-то глухо загремело и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло как-то, замигало, бросило тени на море и скоро совсем скрылось. Высоко в воздухе жалобно прописнула, как ребенок, какая-то птичка, и скоро голос ее затерялся где-то далеко в неведомом шуме.

– Не к добру, – проворчал старый кормщик, вглядываясь во что-то по направлению к Соловкам. – На экое святое место да ратью идти!..

– Ты что, дядя, ворожишь? – спросил, подходя, тот стрелец, что служил у Стеньки Разина в водоливах.

– Что! Зосима-Савватий осерчали, дуют.

– Что ты, дядя! За что они осерчали?

– А как же! На их вить вотчину, на свяую обитель ратью идем.

– По делам, не бунтуй.

Небо загремело ближе, и как бы что-то тяжелое, упав и расколовшись, покапало по морю. Порывом ветра, неизвестно откуда сорвавшегося словно с цепи, метнуло в сторону полотняный намет и, потрепав в воздухе, бросило в воду. Монах, придерживая скуфейку, прятал под полу книгу, а воевода торопливо застегивал ворот рубахи и крестился «Свят-свят-свят...»

Торрох! Расколосось и обломилось, казалось, все небо над головами оторопелых стрельцов, по-над морем там и здесь пронеслись огненные стрелы, снова разорвалось небо, и хлынул дождь.

* * *

Все кругом крестились, полной грудью втягивая посвежевший влажный воздух и выставляя под дождь разгоревшиеся головы и лица.

– Ай да важно! Разлюли-малина, – раздавались веселые голоса.

Кто-то запел по-детски: «Дожжик-дожжик, припусти!..» Один старый кормщик глядел сурово, заставляя судно поворачиваться левее.

– Водоливы! К пліцам! – громко закричал он. – Воду выливай.

Действительно, воды налило много. Кочи стали идти грузнее. Намокшее красное полотно с Георгием Победоносцем болталось, как тряпка, тяжело хлеща по снастям. Ветер крепчал и вздымал море, которое, казалось, набухало, а местами прорывалось и белело тяжелыми брызгами. Беляки шли грядами, и кочи, сбившись с первого курса, тыкаясь в белые буруны носами, металась в беспорядке, как щепки. Кое-где слышались испуганные голоса, резкие выкрики кормщиков.

Монах, упав на колени и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивал всем телом, когда его окатывало солеными брызгами: «Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророк Иона! Пророкушка, матушка! Во чреве китов», – бессвязно стонал он, поднимая правую руку к небу, которое на него свирепо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обеими руками за мачту, испуганно озирался, бормоча не то молитвы, не то заклинания: «Охте мне! Светы мои! Зосим-Савватий! Соловецки! Охте, охте!» Стрелец, что служил у Стеньки Разина водоливом, торопливо сбрасывал с себя сапоги, рубаху и порты, как бы собираясь броситься в море и плыть, сам не зная куда.

Одно судно, на котором еще недавно раздавалась песня о «весновой службе», потеряв руль, отбилась в сторону и перекидывалось с гребня на гребень, как пустое корыто. Другие кочи также разбились врозь и то выскакивали на белые гребни валов, то ныряли, болтая в воздухе жалкими мачтами, словно маленькими веретенами. Ветер завывал и взвизгивал, как бы силясь растрепать и оборвать ничтожные снасти, которые потому именно и не обрывались, что были слишком ничтожны...

Еще раз небесная пелена разодралась сверху донизу, и треснул гром; звякнул второй раз еще резче и заколотил по небу сотнями орудий.

На отбившемся и потерявшем руль судне раздался отчаянный крик: «О-оо! Православные! Батюшки! Спасите, кто в Бога верует!»

– Наляг на гребки, братцы! С Богом, наляг! – хрипло командовал кормщик воеводского судна, направляя ход его к тому месту, откуда неслись отчаянные крики.

Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко в пенящиеся волны, то скользя лопастями по бокам валов. Судно вздрагивало, то тыкаясь в воду носом, то западая кормой, так что кормщик, казалось, правил свое судно на водяную перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо, потопало: края его чуть заметно чернели в пенящихся бурунах, и только виднелись руки, протягивающиеся к небу, словно расшвырявшее небо собиралось бросить им спасительные веревки, а на мачте и на снастях отчаянно бились те, которые искали спасения повыше от зияющей и клокочущей бездны.

Не успело воеводское судно настигнуть погибавшее, как последнее совсем захлестнуло темно-зеленым с белым гребнем буруном. Руки, тянувшиеся к небу, разом упали и замолкли на клокочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая в воде.

– Кидай причалы! Подавай концы, детушки! – не выпуская из рук руля, повелительно и с мольбою кричал старый помор-кормщик.

Взвилось в воздухе, разматываясь и кружась волчком, бичевы и веревки и упали в воду в том месте, где потопавшие боролись с волнами, бледные, с искажившимися от ужаса лицами. Иной, видимо, с отчаянием и злобой погибающего отбивался от топившего его, не умевшего плавать и держаться на воде соседа. Иные руки хватались за веревки, другие, безнадежно поколотив воду, исчезали совсем под нею. Более умелые и сильные боролись с волнами сами и плыли к спасительному судну.

– Православные, спасите Киршу! Полуголове помогите, батюшки! – взмолился воевода, забыв свой собственный страх.

А Кирша, стрелецкий полуголова, взобравшись на мачту потонувшего и уже скрывшегося под водою судна, не чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолял сиплым голосом:

– Православные! Отцы мои! Не покиньте! Тону.

Набежавшим буруном тряхнуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и он, подняв руки к небу, исчез под водою.

– Господи! Помяни во царствии раба... Господи! – с ужасом шептал воевода, безумно озираясь.

– Да, прогневались на нас святые угоднички Зосима-Савватий за то, что мы хотим их святую обитель разорить, – твердил старый кормщик. – Преподобные, помилуйте!

II. ЧЕРНЫЙ СОБОР И ПОСОЛ КИРША

На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурей и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосимы и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартыны-рыболовы и острохвостые стрижи, казалось, радостно тянулся к небу своими церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из голубой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и кочи тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой Соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, поросшими

мохом камнями.

Но в самом монастыре было беспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были закрыты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к смутному говору и смятению, господствовавшему в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по острову и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и диаконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волосатые, и глинистые, рудо-желтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал, – все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее за общее торжество, такие выделял в воздухе кувырки, что Исачко Воронин, сотник и стратег всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затинную пищаль, так залюбовался на воздушные кувырки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородатую голову к небу на этого сорванца-птицу, что чуть не опрокинулся со стены.

На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из странноприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители: архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородкою в виде двух клоков немытой шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сырмятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий – остробородатый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица – сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянин Самко: первый – косой на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь со вздернутым носом и бороною, второй – с поклапым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бороною.

Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним – тот монашек с козелковой бородкой, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и великого князя Василия Ивановича.

Сборище у соборного круга увеличивалось с каждою минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Москов-

ского государства богомольцы и богомолки – из Архангельска, из Москвы, Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба; это был бритый, круглощекий, с голубыми глазами за пивную слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичем. Каролус Каролусович тоже пришел полюбопытствовать, по какому случаю такой собор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодникам, вышла к собору и «саглицкая» немка мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске со своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом «саглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой». Это была высокая сухошавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя «в штанцах», волосами. Амалея Личардовна приехала в Соловки просто из любопытства, посмотреть на это московское, как ей казалось, Уэстминстерское аббатство. В долгое пребывание в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкою Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское собрание и послушать, что там будет.

Когда они пришли к соборищу, то увидели, что какой-то широкоплечий, со сросшимися бровями стрелец, это был Кириша, подал архимандриту Никанору свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.

* * *

Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как смоленый шест, кашлянул словно из бочки и тоже словно бы из бочки начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов: «сие наше», «со-со-соборное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранить», «и по-и поко-и покорятся святей во-восточней церкви...» Далее отец Геронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова:

– «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору или начнет прекословити и противлятися нам, – гремело на весь черный собор, – и мы такового противника, данною нам властию от святаго и животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и благодати, и проклятию предаем...»

При слове «проклятие» сдержанный ропот прошел по собору. Все груди, повидимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно – «проклятие»; кто-то кого-то проклинал... Кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и трудников? А за что? Вон какие мозоли они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим-Савватия... А их проклинают... Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание...

Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами...

У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Протасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник косит своими глазами на Киршу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать...»

– «Аще же от мирского чина, – продолжают вылетать слова из сухой бочки, – отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, допреже вразумится и возвратится в правду покаянием».

Отец Геронтий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнуре кольхалась. Сотник Исачко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пищаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана «в штанцах», и искося опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.

– Что дале, на нет чти, – нетерпеливо и дрожащим голосом понукнул архимандрит.

– «Аще ли кто не вразумится, – продолжал отец Геронтий, – и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего – да будет и по смерти отлучен и непрощен, и часть его и душа со Иудою-предателем и с распеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, каменные и дерева да разрушатся и да расгнутся, и той да будет неразрешен и не разрушен и яко тимпан бряцай во веки веков, аминь!»

* * *

Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого архимандрита. Отец Никанор – стар бывал человек, жывал и на Москве, и архимандричал в Саввином монастыре, и на глазах у царя бывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Или так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них и закона нет? А Никанор стоит заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуйи, пасть сметием и прахом под нозе Никона... И стыд за прошлый позор, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам. Вон Аввакум-протопоп не убоясь собора нечестивых и пребысть крепок, аки адамант и яко скала нерушим...

Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ярким солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.

* * *

– А что дале, после аминя? – резко вдруг спросил Никанор.

– После аминя скрепа дьяка Патриарша приказа, – отвечал Геронтий.

Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которы-